

Я шагнула на корабль, а кораблик
Оказался из газеты вчерашней...

Что мы, в сущности, знаем о поздней любви, кроме того, что она невозможна? В молодости она нам кажется смехотворной, в зрелости – горькой. Потому что в ней, как и во всем, выходящим из берегов, видится опасный подвох. Но только не здесь – в отделении ортопедической хирургии. Здесь, где не только режут и удаляют, – но где взамен больного вставляют инородное, но здоровое, которое согласно нашей непоколебимой вере, облегчит и украсит нам жизнь. Даст опору. Достаточно упомянуть, что в соседнюю палату прилетела из Южно-Сахалинска 80-летняя валькирия – с двумя чемоданами без сопровождающих. Оконфузилась в уборной, бредила не умолкая, подняла хирургам тонус бессмысленностью риска – и всё же была прооперирована, хоть и пролежала перед этим на каталке в коридоре часа два. Забытая.

И ничего! Всё обошлось. Полетела обратно на отремонтированном крыле. Разве мы не живём вечно?

У анестезиолога Вильямыча дрожали руки. Это шёпотом заметила Галя. И теперь я иногда представляю, как он справляется с дрожью в половине восьмого утра, когда ему необходимо сделать укол в позвоночник очередному беззащитному голому человеку, которого просят завернуться в позу эмбриона – так, чтобы он едва не рухнул с узкого операционного стола. Зато хребет, куда должна войти игла с анестезией, выгибается горбом наизготовку, словно стебель бамбука перед тем, как треснуть. И я представляю, как Вильямыч хмуро целится, сделав перед этим окружную блокаду, благодаря которой мы не особо чувствуем этот главный укол. Который раньше – совсем недавно! – делать не умели, попадали в нерв, и люди оставались калеками... Но мы устроены так, что от неизбежности полагаемся на миф прогресса. Будто теперь не опасно. Это раньше, а сейчас... технологии. Как это смешно и странно! Потому что в игле и человеческих руках нет никаких технологий. И прогресса тоже. Всё как раньше, как пятьдесят и сто лет назад. Всё зависит от точности этих самых рук.

Но нет, по-нашему – всё зависит от магии веры в опыт. Вильямычу недавно исполнилось 70 лет. Он опытный – и всё тут. Поэтому его пальцам простителен лёгкий тремор. И ни с кем ещё ничего страшного не случилось. Это самый мощный аргумент для нас. Они – все эти хирурги – носятся по коридору, смеются, ерничают, курят на чёрном балконе. Ничего страшного не произойдет. Даже если у анестезиолога дрожат руки.

А после укола ноги «сдуваются», становятся как у мокрой тряпичной куклы, набитой песком. Нижняя часть постепенно теряет чувствительность. Но и верхняя, не сказать, что готова к мозговому штурму. Она хочет вступить в незлобивый ёрнический спор анестезиолога и молодого ассистента о том, кто будет ставить катетер. Хочется поучаствовать, потому как речь идет о твоей брэнной тушке, так бессмысленно стекающей с операционного эшафота, – теперь, когда её заколдовали спинальным наркозом. Хочется объяснить, что не стоит это делать младшему по званию – хотя лично я ему доверяю, он бережный, аккуратный, с чуткой рукой. Но всё же молодым – молодые. Даже памятуя о том заезженном аргументе, что все мы для них – не женщины, а пациенты. Но, помилуйте, пациентами, в сущности, является всё население планеты, кроме затерянных в глубине континента диких африканских племён... Кого-то из этого населения молодому хирургу всё же придётся рассмотреть с необычного ракурса. Так что давайте не будем портить ему репутацию противоположного пола и гасить влечение. Словом, на данном этапе я выбираю зрелого циника. Ему уже ничем не навредишь.

Речь идёт, конечно, не о Вильямыче. Это другой анестезиолог – звезда местного значения. Балагур и любимчик. И, наверное, совсем не циник, и, наверное, с ним здорово посидеть и выпить. Анестезиолог по определению не карьерист. Конечно, ему тоже хочется на тёплое местечко. Но ему никогда не стать заведующим хирургии и не получить здесь отдельный кабинет. Притом, что ответственность он несёт не меньшую, чем оперирующий доктор. Анестезиологов душат передаваемыми из уст в уста древними сказаниями о не проснувшихся после наркоза. И неброские «работники сна», наводящие волшебный морок, с нежной лаконичной суровостью топят завесу недоверия в немудрёной шутке.

Но у Вильямыча дрожали руки. Он был не шутником, скорее рассудительным ироником. Хотел уйти на покой. И не уходил, потому что боялся пустоты. У него год назад умерла жена. Что он будет делать в пустой квартире? Дети и внуки – драгоценное, но другое. Вильямыч не из тех, кто надоедает и лезет в чужую жизнь. Это не мужское, этим занималась жена. Однако после её ухода стало понятно, что кто-то должен заниматься этим неблагодарным делом, иначе всё развалится. Просядет, разойдётся, утонет, уплывёт. И наступит пустота. Такая звонкая и неделимая, с ней не сладишь по частям. Это финишная прямая. Она может утопать в цветущей вишне и раздираемых ликованием лицах болельщиков, но свернуть вбок – на волну, в пампасы! – уже не получится. Похоже, всё всерьёз, раз главная примета жизни ретировалась. Не правда ли – тот, кого ты, пробуждаясь, видишь первым в течение без малого пятидесяти лет, – это и есть твоя главная примета...

Мне казалось, что именно в этой больнице будет подведена какая-то важная черта моей жизни. Свойство любого лазарета – казаться значимой засечкой на линии судьбы. Все потому что больница для меня – тюрьма и мука. Выдержать испытание – пройти инициацию. И ведь, «отмотав срок», я порой действительно встречаюсь с большими переменами. А здесь... много значило уже одно то, что во время операции мне сделали переливание крови. И эта кровь, как я постепенно осознала, принадлежала тому, кто был совсем не похож на меня. Решительный человек, который умеет добиваться своего. Он, надеюсь, здравствует и процветает, мой брат по крови. Благодаря ему я стала куда менее удобным человеком, чем была. Даже если пока этого никто не заметил.

Вильямыч часто заходил в нашу палату. Потому что Фёдоровна была сложным случаем. Выходило так, что наркоз ей требовался общий, и пришлось вставлять в горло трубку для вентиляции легких. Из-за этой трубки, повредившей ей нутро, она долго кашляла и жаловалась, что Вильямыч «своим шлангом ей всю глотку разорвал». Что говорить, глотка у Фёдоровны была её главным и самым мощным оружием. Она была громким весёлым любвеобильным тираном, – образчик русского характера, – и сначала я её боялась, потому что властные женщины – не моя компания. И всё же первый укол привязанности я почувствовала почти сразу – когда она заплакала после разговора с дочкой. Ничего не случилось, просто от того, что та далеко. Фёдоровна была истовой матерью и бабушкой.

Поймав себя на моментальной симпатии, я пошла в смятении бродить по больничному бродвею, восхищая коллег крейсерской скоростью. Давным-давно мне, хромой копуше, не приходилось слышать таких комплиментов. А тут, в больнице, сошла за чемпиона! Окрылённая успехом, я шла тренироваться в восхождениях и спусках по лестницам, напоминая себе вместе с приподнимающимися костылями гигантский штопор. А потом я смотрела в окно и жалела, что это не старая больница в центре города, потому что там видны деревья в старинных запущенных садах, а здесь промзоны, гряда бетонных многоэтажных коробок и зеркальный стоунхэндж Москвы-сити вдалеке. И солнце жарит как на адской сковородке! Вдобавок все вокруг боятся сквозняков – а я их жажду, как Ихтиандровы жабры – моря. Но потом мне неизменно вспоминалась одна такая дряхлая больница – там из окна был виден морг, во дворе я нашла захоронение нескольких несчастных, расстрелянных в 1930-е годы, кроме того, там я и сама была близка к совершению убийства. Редкой мерзостной породы были тамошние докторицы.

Здесь – иначе. Говорю я это осторожным суеверным шёпотом, и скорее плюю через левое плечо. Разве можно вслух хвалить доктора?! Который отпилил тебе полколена... Не зря после любого слова благодарности Галя приговаривала: «Пускай он не слышит!» –

примерно с той же благодушной интонацией, с которой мирный труженик произносит «будь он неладен». Конечно, сглазить неумеренными похвалами проще простого. Потому пациенты держат себя в руках. Есть, конечно, особые случаи. Галя, ремонтировавшая здесь уже второй сустав, невозмутимо поведала о своей бывшей соседке, которая делала врачам комплименты иного рода. Те её боялись и избегали. Хирурги-ортопеды – это вам не психиатры. Они чураются «негабаритного» поведения и избегают бесед с пациентами, даже в рамках их диагноза. Они желают сделать своё дело, и по прошествии двух недель распрощаться с нами. И никогда больше нас не увидеть. Мы вроде тоже хотим того же. Сделать – и блаженно забыть! Но если это получается, что всем дай Бог, – мы ведь друг друга помним! Мы – понятно почему. А доктора – потому что мы у них получились! Удачный опыт – жемчужина в копилку профессиональной репутации, новый виток в карьере, лакомый кусочек в жадную пасть самолюбия, материал для диссертации, доклада, статьи... Таким образом, человек остаётся на всю жизнь связанным со своим доктором тончайшей подкожной нитью памяти. Никогда больше не увидеть – и помнить на ощупь, держать наготове в узелках памяти. Амбивалентность!

А если всё не так гладко? Если мы не стали образцовыми пациентами, и не так уж хорошо живётся нам после операции. Болеем и сетуем на младшего создателя. Теперь ведь у нас не один создатель, в божественный замысел вмешался хирург, значит, он у Господа в ассистентах. А вдруг ещё – чур меня! – не прижился титановый заморский конструй?! Слабый и никудышный врач постарается вытеснить неудачу. Вплоть до низменных уловок – например, при маловероятной случайной встрече сделает вид, что не помнит, пройдёт мимо, как чужой. И даже более-менее приличный врач имеет обыкновение прятать голову в песок. Но если доктор выдающийся – что, само собой, редкость! – он и душевно, и профессионально будет больше привязан к провалу, чем к триумфу. Объяснять это бессмысленно, кто знает, тот поймет. Да и ни к чему запоминать этот редчайший случай – он выпадает раз в сто лет...

Фёдоровна же пребывала в состоянии иной амбивалентности. Она все больше раздражалась на Вильямыча за то, что горло всё саднило и кашель не успокаивался, и вместе с тем... я поймала себя на мысли, что мы говорим только о нём. И эти разговоры её тонизируют. Нет, не так – её как ребенка, успокаивало бесконечное повторение одного и того же образа. Вот я ей рассказываю, как меня только-только привезли в реанимацию – а мест нет, я стою – точнее лежу на каталке посреди маленькой тесной комнаты и оглядываю фигурантов. Вильямыч кормит Фёдоровну с ложечки – она едва очнулась после наркоза и мало что понимала. Он говорит ей, что так же кормит внуков. И мне тоже отчаянно хочется супа, притом именно такого, каким Вильямыч кормит Фёдоровну – куриного с вермишелью. Редчайший случай! Суп я не ем, это моя тридцатилетняя реконкиста против родительского обеденного диктата трёх блюд. Но после операции аппетит зверский – ведь полдня во рту девственная пустота. Куриный с вермишелью сегодня в меню, и именно его и хочется. Опять редчайший случай для моего нутра – хотеть в точности того, что тебе уже несут.

В реанимации спокойно и прохладно. Ничего не болит, местный наркоз ещё долго не отойдет, и тело пока ещё не измаялось от лежачей позы. Изголовье приподнято, тарелку с супом поставили прямо на урчащий живот. Донесёшь ложку – сизифова победа! Голод не тётка, изловчишься. С тобой нянчатся анестезиологи и медсёстры. Лови момент – ты ведь не хочешь, чтобы когда-нибудь он повторился. Боже упаси, чтобы тебе когда-нибудь было так хорошо...

Вот об этом эпизоде я бесконечно рассказывала Фёдоровне – ведь кто же, кроме меня, ещё мог это рассказать! Я была единственным свидетелем этому трогательному акту. Остальные присутствующие были в отключке, и только я чувствовала себя любопытным сусликом, встающим в степи на задние лапки, чтобы узреть приближающихся врагов. В смысле – товарищей по ревматоидному несчастью. Ревматоики в отделении были в большинстве, хотя их изрядно разбавляли «счастливыцы» с травмой сустава или пациенты с неустановленным точно диагнозом. Пребывая здесь, я пробовала составить психосоматический портрет пациента, больного ревматоидным артритом – где я ещё увижу

этот типаж в таком изобилии... Давно известно, что этим заболеванием страдают преимущественно женщины. Но никто, насколько мне известно, не пытался описать этот психотип. Артрит, как я могла наблюдать, не ходит один, он любит сопутствующие заболевания. И по женской линии, в том числе. Но это тот случай, когда проблема – стимул. Одиноких я тут не видела, кроме той 80-летней героической бабули, – и то она вовсе не одна, просто за дальностью расстояния и из-за дороговизны билета родня с ней не поехала. Тесные отношения с роднёй – вот что отличает ревматоиков. Иначе им не выжить. Можно усмехнуться, что всякому больному хана без поддержки. С чем грустно соглашусь, но замечу, что не каждая болезнь способствует общительности, скорее напротив. Она выводит человека из игры постепенно, сужая круг посвящённых в его несчастье. А потом он и вовсе исчезает с горизонта. А потом исчезает совсем.

Для самых юных и беспечных из нас такой тихий уход без единой просьбы о поддержке – зияющее откровение об одиночестве. Ты захлёбываешься непостижимым вопросом о молчании. Душа осыпается, как фреска, от бессмысленной уверенности в том, что мог бы помочь, облегчить, продлить – но тебя не попросили. И только условно опытная зрелость объяснит тебе, что человек всегда просит о помощи. Только мы его не слышим. Умение почувствовать невесомый крик отчаяния – это редкость. Надо быть слишком настроенным на другого, надо почти избавиться от самого себя. Потому что этот крик – немой. Никто на грани бездны не будет бросаться к жалю жалости или вежливого сочувственного отказа. Это тот случай, когда так плохо, что уже даже и хорошо. Можно отвлечься от жидких щей и мелкого жемчуга, можно вдруг полюбить спаржу, сырны палочки, маджонг, подростковые сериалы про веселых вурдалаков, яблоки с мёдом, кофе без сахара, варган. Можно парить, тренируясь отрывать от земли. А просить не получится... разве что за тех, чьи слёзы уже сейчас чуешь по запаху. Кого ты должен научить жить без тебя.

От артрита не умирают. Но он так хитро подтачивает габитус, что расстраиваются другие системы организма. Таким образом, пожиратель суставов замечает следы, как опытный серийный убийца. Чтобы летальный исход на него никто не «повесил». Но наши милейшие 80-летние валькирии дарят нам надежду! Да и сама замена сустава – из области чудес, хотя чудо зависит от страны-производителя, от музыкальной точности хирурга и имеет срок годности. И, тем не менее, ревматоики большей частью оптимисты. Специфика болезни такова, что чаще всего её не скроешь, но при этом способность и желание трудиться сохраняется. То есть больной вынужден комментировать свой недуг. Отвечать на вопросы, «развенчивать» страшилки о том, что ты хромой не с рождения, отбиваться от настоек чертополоха и в целом агрессивного потока народной и восточной медицины. Потому что нирванная восточная медицина в её русском варианте от восточного оригинала бесконечно далека. Объяснять, что поздно пить Боржоми, когда почки отвалились, в наших пенатах бесполезно. Но русский человек всё ж таки северный азиат, и всегда будет больше доверять шаману. И дело тут не в образовании и не в доходе. Нас веками так мордует всё официально разрешенное, что мы бежим в благословенную сосновую глушь, чтобы какой-нибудь чокнутый божий одуван излечил нас толчёным хвостом гадюки. Временами и я, конечно, поддаюсь этим древним языческим верованиям. Болезнь непоправимо запускается, пока мы ищем спасения у эзотерики и очковтирательства. Каюсь – лично я тоже предпочту и дальше запускать, чем сдать бездарным мясникам, не умеющим ни лечить, ни грамотно отрезать. Но ежели взамен отрезаемого тебе вставляют новое – почему бы не попробовать... авось приживётся.

И вот, всё это обсуждая с общественностью, выкатывая на всеобщее обозрение свою уязвимость, ревматоик превращается в стойка. И привыкает казаться почти здоровым. А от «казаться» до «быть» – всего один шаг между мирами. И Фёдоровна беспечно и безотчётно пыталась его сделать. Неунывающий человек, она превращала падение в полёт. Тогда и для меня мучительное становилось смешным, больница превращалась в пионерлагерь, – ведь если здесь не станешь ребёнком, то превратишься в соляной столб.

...превращала полёт в падение, зная, что её подхватят. Дети, например. У Фёдоровны, вдовы, были хорошие дети. И внуки, и даже правнучка. Что значило «хорошие» в тот момент для меня? Во-первых, они всё время ей звонили и приезжали к ней. Во-вторых... красота в глазах смотрящего. У их матери было качество, которое я безуспешно возвращала в себе. Она умела встать горой за своих. Так, что против не попрёшь! Можно возразить – кто за своих отпрысков не вступится?! Можно вспомнить классику о том, как материнский инстинкт перетекает в материнский эгоизм. Верно. И всё же! Я сделана из мягкой горькой сердцевины, называемой чувством вины, я не могу переть грудью вперёд. Да и грудь, признаться, маловата. Если моего ребёнка ругают – я теряюсь. Страдаю. Таким образом, предаю его, вставая на сторону врага. Но даже если его ругают за дело – я должна ругать иначе, *не с ними!* Я же, потрясённая его очередным вероломным враньём, – с яростью примыкаю к карательному хору.

Почему моя мама – всегда мой заступник и импресарио, а я для своего сына – бесноватый фюрер, осознавший свой крах...

Его папенька, мой давно бывший муж, делает иначе. Он спокойно всё выслушает и неспешно ответит нечто вроде:

– Да, я вас понимаю. Парень самоутверждается. Но я с ним справляюсь. В данном же случае, это ваши проблемы. Ради вашего удобства я его ломать не буду.

И медленно удаляется. Больше его не вызывают. То есть жалуются опять мне, и в довесок ещё и на него. К нему же вопросов нет. И весь мой замес любви и тревоги за будущее, приправленный кровью и потом воспитания, отправляется, как оконфузившийся футбольный мяч, в мои же ворота. «Юрий Деточкин, конечно, виноват. Но он... не виноват!» У меня остаётся одна киноцитата в руках.

А ведь если бы я умела быстро и безапелляционно парировать – как Фёдоровна! – ко мне пришло бы со временем ангельское умение моей матушки звонить в минуты роковые, когда провальное отчаяние уносит меня в свои ядовитые воды, и всё кажется непоправимым, и жизнь – равнодушная, в лучшем случае злая пустыня. И тут раздаётся звонок, соломинка божья как живое свидетельство того, что Кто-то там, сидящий в чёрной дыре, ещё видит во всём это смысл.

Но если за родную кровь Фёдоровна стояла горой, то чужим детям она не доверяла. Она обнаружила это с первых хохотливых вздохов о Вильямыче. Я ей с радостью подыграла – она меня печально осадил: «О чём ты... у него дети, внуки. Они не дадут ему снова жениться! Дети сейчас очень эгоистичны»

Я не верю ни в какие *сейчас* и *тогда*. Просто они необходимы нашей психофизике. Дети как дети – тогда и сейчас они всего лишь не могут сдвинуть гранитную плиту стереотипа, о том, что в семьдесят лет уже не принято спариваться. Зачем? В головах плотно устоялась одна схема о молодой охотнице за деньгами. Или – охотнике. Вот они – понятно зачем. А если «молодая была уже немолода»? Так затем же, просто она уже состарилась. И теперь ищет выгоды для своих отпрысков. Какими бы мы ни были гуманистами, симпатия и любовь для большинства из нас плотно связаны с фертильностью. Дети не обязательны, но обязательна их гипотетическая возможность. И точка. А если за спиной уже не по одной семье, и дети у каждого свои, так чего же, собственно... можно ездить на море и гулять там по променаду со случайными попутчиками своей возрастной категории, можно ходить на старческие танцы или играть в парке в бадминтон. Но зачем с дуба рухнуть и вдруг жениться? Даже без штампа – всё равно это угроза здравому смыслу. Разве что помогать друг другу век доживать...

И в этом *разве что* всё дело! Мы, все остальные, на кого ещё не опустилось старческое вето, тоже помогаем друг другу жить. Жить вместе – самый простой способ обрести смысл. Хотя простота тут очень спорная.

Но Фёдоровна устало отмахивалась от свержения стереотипов.

– Не о том мы. Дело не в Вильямыче. И не в чьих-то детях... Прежде всего, мои не дадут. Ася так и сказала однажды.

Асю, внучку, Фёдоровна вырастила как дочь, так вышло. Какая-то жуткая история с невесткой, – я подробности обошла. И как будто бы Ася, вскользь обороняясь от соседского трёпа, – дескать, а что если бабушка найдёт себе нового спутника жизни? – спокойно ответила: «Тогда я больше порог её дома не переступлю». По мне, этой оплеухой умная девочка раз и навсегда отвадила охотниц до пересудов. Но Фёдоровна полагала, что в шутке лишь доля шутки. Дети привыкли, что она безраздельно принадлежит им. И памяти отца. Если второго такого нет, чего ж трепыхаться...

Тесные отношения с родными всегда чреватые. Мне подумалось тогда, мельком, что дети, что бы они ни обронили всуе, не стали бы препятствовать... союзу с Вильямычем. Побудем, наконец, дерзкими и прямолинейными и перейдём с испуганного шёпота на декларацию. Есть такие личности, которые заслужили услышать «да» на любой вопрос. Если представить, что между Фёдоровной и ироничным рефлексирующим меланхоликом-доктором протянулась нить-переглядочка, то дети, скорее всего, были бы только «за». С оговорками, но принципиально согласны. Препятствие ж было в самой мятущейся влюблённой, которая – я уверена! – полагала, что ей не потянуть близость. Не потянуть – в том смысле, что не стать лучшей. Вступить в хрупкую сферу интимного почти для каждого из нас означает «суметь стать лучше предшественников». Кто-то очень боится не соответствовать этой миссии, кто-то априори в себе уверен, кто-то делает вид, что не думает об этом. Но все думают – с разной степенью интенсивности борьбы сознания и подкорки. Победа приходит легко к тем, кто в себе не сомневается ни на минуту. Он провозглашает себя лучшим – про себя, а потом и вслух – в разговорах с дружественными слушателями. Кто это может опровергнуть? Никто и никогда. Это же не турнир. Наглость – второе счастье. Но как семидесятилетней Фёдоровне положить на лопатки жену Вильямыча времён расцвета женственности, когда бы он у неё ни случился?! Она всё равно останется лучшей, а Фёдоровна получит утешительное второе место. Конечно, можно из отрывочных сведений слепить версию о том, что супруга была фригидна, и Вильямыч всю жизнь маялся от недостатка женской ласки. Но в такие игры прабабушке играть поздновато. Не по чину, как говорится.

Именно этого боялась Фёдоровна. Обнажиться для любви, которая так и не придёт... Но, пока я погружалась в предположения – обожаю лезть не в своё дело! – Фёдоровна изучала списки докторов при входе в отделение. Фамилия Вильямыча привела её в некоторое замешательство. «Он еврей, что ли...»

– Так это ж хорошо, – не задумываясь, ответила я.

– Почему?

Сразу не ответишь. Потому что не в поверхностно национальном дело. А в благотворной разнице материй. Спокойное ироничное достоинство – и бойкая витальность. Житель мегаполиса, каждое летнее утро купающийся в реке, – радости старого престижного района! – и рождённая на берегах Енисея любительница стерлядки... Они могли соединиться, как этно и джаз... они были единоутробной противоположности. Что же до национальностей, то меня всегда раздражает противоречие двух тенденций. Первая – гуманистически молчать об этом, ибо человек – наша общая национальность. По образу и подобию... – и этим все сказано. Душа вне этнических меток. Однако говоря о цветке, мы непременно называем его розой, клевером, ирисом или васильком... Надо очистить восприятие, чтобы столь же природно воспринимать описание встреченного нами человека.

И мне живо представилось, как Вильямыч, оказавшись в ближнем круге своей неистойвой пациентки, станет куда как более защищённым от внешних и внутренних врагов. Москаль, еврей, интеллигент – ему ото всюду может прилететь камень. Фёдоровна – его грозный оберег на всех тёмных российских тропах. Вот смеху будет, если я ей об этом скажу! Но она поймёт. Мы соединяемся, чтобы помогать друг другу жить. Временами это очень опасное дело. И поздняя любовь об этом знает.

А Вильямычу трепетно необходим рядом тот, кто не боится проявлений своего естества. Закон эмпатии – телесная свобода заразительна. Дрожание рук – это боязнь потерять контроль над собой. В сущности, старый доктор боится падения во тьму. Он устал

от той предельной ясности, что царит в его голове. Устал от кубиков позитивизма, из которых выстроил своё гнездо. Он из тех интеллигенций, особой которых нужно замораживать для потомков. Иначе марсиане землян не поймут, когда настанет время встречи. Планету, как всегда, спасёт народный умелец в седьмом колене, умеющий вырезать аппендицит ножницами в тайге.

Втайне мы понуро соглашались с тем, что никакая новая подруга Вильямычу не нужна. Ему нужен отдых. Или напротив – извержение Везувия, выброс адреналина, второе дыхание? Одно очевидно – с Фёдоровной он помолодеет. Глядишь, и пройдёт тремор. Он же чувствует, где спасение: тянет его непреодолимо в нашу палату. Или просто путь мимо пролегает на балкон-курилку? Но кто его заставляет делать шаг в сторону... И зачем мне знать об этом? Подходя к этому краеугольному вопросу, я теряюсь. И, где бы я ни находилась, начинаю мять в руках зелёного кота. О нём, конечно, стоит упомянуть отдельно.

В нашей палате лежала русалочка Дина. Она была сложным случаем, её оперировали самые лучшие хирурги, и долго фотографировали её, так сказать, «до»... чтобы потом предъявить на международных симпозиумах триумфальное «после». Но – мы не говорим ни о чём таком в силу жёстко обозначенных незыблемых суеверий. Мы пока видели только «до» – ходила Дина с титаническими усилиями, – скорее ездила на инвалидном кресле, чем ходила, – и при этом была лучистой и деятельной барышней. Поэтому я и называла её про себя русалочкой. У её ложа все время копошились друзья и родственники. Поначалу я приняла её за школьницу, но ревматоики иногда выглядят намного моложе своих лет – причудливое действие принимаемых гормонов. Дина, несмотря на трудности передвижения, была владелицей магазина. Лежа в больнице, она, как любой предприниматель, держала руку на пульсе, бесконечно говорила по телефону и, в отличие от меня, нисколько не тряслась над своим ноутом, на клавиатуру которого беспечно водружалась то кофейная кружка, то туалетная бумага. Будучи хрупкой и уязвимой физически, она умудрялась быть независимой и продавала разноцветных котов. Это было всё лишь дополнение к основному одёжному ассортименту, но дополнение, как выяснилось, удачное. Одного из котов прохладного морского колера привез Дине её верный помощник, худощавый парень в джинсе. Кота он доставил вовсе не из сантиментов – некоторым больным после операции предписывалось класть подушку промеж суставов. Кот подходил для этой роли идеально, поскольку и был подушкой – очень нежной и тактильно приятной фактуры. Кот безраздельно завладел симпатиями аудитории, и вскоре вся палата заказала себе таких котов. Кроме меня – потому что в нашем доме давний слезный уговор не множить поголовье мягких игрушек – оно и без того топорщится пыльными хвостиками из всех углов.

Кота заприметил и Вильямыч, в очередной раз зашедший проведать бурлящую темпераментным эпосом Фёдоровну. О чём она говорила тогда, я уже не вспомню, но кот восседал у той спинки кровати, за которую машинально держался уставший анестезиолог. Теперь он машинально мял в руках кота.

– Это что у вас такое? – спросил он с тихой, смиренно-равнодушной интонацией, словно о второстепенном, постороннем, неважном для нынешнего лечения симптоме. Вильямыч всегда чётко давал понять, что его в твоём организме интересует, а что нет.

– Нравится? – задорно поддела Фёдоровна. – Теперь у нас коты!

– Я вижу, вы здесь надолго обосновались, – доктор, не слишком интересуясь остальными, кивнул на её растущий скарб из обновок и приобретений для внучек и правнучки. Скарб уютно очерчивал уголок Фёдоровны в нашей палате, свисая с подоконника, как жидкие часы Сальвадора Дали. Неспешность доктора и парадоксальность дворовой активистки быстро привели разговор в правильное русло, и вот уже Вильямыч распознал главное – сколько ей лет и где она живёт. Не москвичка. Это сулило трудности, но давало надежду.

– Да подари ты ему этого котэ! – вдруг по-житейски буднично предложила Галя, когда величественный силуэт Вильямыча скрылся в дверном проёме. – Ему полезно будэ пальцы разминать. А то иглой своей проткнёт кому-нить нерв – и кирдык...

На кону стояла чья-то жизнь! Тут Фёдоровна отказать не могла. Такие военные операции вполне вписывались в её масштаб. Галя имела безошибочное полесское чутьё, её слушалась даже сестра-хозяйка. Наша палата затрепетала, разрабатывая тактику решающего сражения. Как подарить кота тщательно сохраняющему дистанцию доктору? Он не возьмёт. Это первый вариант, мучительно пораженческий. Возьмёт, но после ничего не будет. Здесь возможны маневры. Горячее предложение подложить в пакет – мешок! – с котом бумажку с номером телефона было с негодованием отвергнуто. Табу! «К тому же телефон он всегда может узнать в истории болезни», – обиженно напомнила Фёдоровна. По её лицу пробежали тени ханжеских химер – это были осуждающие взгляды её молодого альтер эго. То есть её самой лет тридцать назад! Когда она была замужем и в расцвете женского естества. Из тех времён она прогоняла старика Вильямыча хворостиной. Или нет? Или просто нынешняя сама в себе взрывалась – дескать, о чём мы вообще говорим?! Какой кот, какой Вильямыч, что за вздор!

Внутренняя Фёдоровна переговаривалась с внутренней мной. Как узники Бутырки, они переговаривались условным языком перестуков. И та, истинная Фёдоровна, рассказывала истинной мне, как ей страшно возвращаться в дом, где её никто не ждёт. Истинная Фёдоровна рассказывала об этом совсем не так, как мы привыкли. Она молчала об этом, сидя на кровати, спиной к нам. Знаете, как молчит человек в больничной палате, повернувшись к тебе спиной? Смеется, балагурит, капризничает, чаёвничает... и вдруг замолкает. Да, да, «глядя в небеса», конечно. В бесконечный промзонный пейзаж с зеркальными скалами сити...

Мое же альтер эго так и не может внятно объяснить, зачем всё это... мне. Наверное, объяснять страшно, вновь и вновь натываясь на непонимание. И поэтому мне хочется защититься от этого страха кого-то другого. Не зря же именно советские граждане так сочувствовали борьбе чернокожих против рабства... Чужое – очевидней. Своё рабство объяснять больнее. Или, не копая глубоко, – я просто ощущаю беспорядочную и бессистемную ответственность за своих читателей? Что я могу для них сделать, кроме того, что сохраняю на манжетах отрывочные свидетельства об их жизни... Когда-нибудь я бессильно упаду и уже не встану у стены, возведённой между соотечественниками и современной прозой, рождаемой такими же бедолагами, как и я. Живущими на территории, описанной классиком русского рока как «восемь тысяч двести верст пустоты, а всё равно нам негде с тобой ночевать»... Но, несмотря на стену, я знаю, что слово моё не будет потеряно. Я уже могу говорить это без мучительного стыда за неуклюжую саморекламу, как было раньше. Когда ты смотришь, как человек читает твою книгу – о, да, ты ослабляешь петлю вечного недовольства собой. Ты паришь и трепещешь. Боишься спугнуть момент истины, бабочку нирваны. А я увидела даже больше – как Галя зачиталась и отвлеклась от любимого телешоу, которое в тот момент все смотрели по динкиному компьютеру. Я не мечтала тягаться с TV. Но раз ненароком потягалась – и победила, я король на час! – выступлю защитником «малых сих». Они соскучились по книге. Им надо просто объяснить, что она ще не вмерла. И читать книги ещё живых писателей не смертельно. Далеко не все из них извращенцы, сквернословы или премиальные зануды.

После того, как Галя для меня сделала почти невозможное, я роняла невидимые миру слёзы на курительном балконе. Меня мучило желание стать лучше. Труженица из брянской глуши разбередила во мне гуманистическую традицию. Пускай я знала, что возвышенная нота не вечна. Она выветрится, и мы, сокамерники палаты имярек, разъедемся и забудем друг о друге. В смысле – они забудут. Лично я не забыла даже утиную походку хваткой старушки, которая случайно однажды заменяла заболевшую нянечку в моём детском саду сорок лет назад. Старушка разрешила мне не доесть ненавистный манный пудинг. Для меня это воспоминание – робкое свидетельство врождённого предназначения человека на Земле, и у меня это бережно хранить осколки чужих жизней. И отвечать за них перед вселенной, даже если ей всё равно.

Балкон был длинный и просторный, почти как коридор, но он обдувался всеми ветрами и нависал над бездной, как Ласточкино гнездо. Ходить по нему взад-вперёд было

куда перспективней, чем по душным больничным маршрутам. Я делала перед самой собой вид, что погружаюсь в думы, а на самом деле пыталась справиться со смятением наивной гордыни. Пока на балкон не пришёл покурить Вильямыч.

Я хотела ретироваться, чтобы не мешать доктору выкурить вечернюю сигаретку в покое, но он сказал: «Нет-нет, ходите на здоровье, вы тоже имеете право на одиночество. Палата у вас... шибко весёлая».

Благодарное смятение переключило риторику, за считанные мгновения я должна была попасть в «яблочко» его подсознания. Гипноз, НЛП, любая ересь – только бы у него появилось – или усилилось! – желание узнать Фёдоровну поближе. Я просто столбенею от ответственности, когда лезу в чужую жизнь. Я же обязана – частички чужих судеб, мои читатели... И, конечно, ничего умного мне в голову не приходит. В «яблочко» попадает хладнокровный творец.

– Да, весёлая... а как же? Иначе с тоски помрёшь. А всё благодаря...

Я ошалело поняла, что, как всегда, забыла главное – имя! Все мы зовем её просто «Фёдоровна»...

– Понятно, благодаря кому, – отозвался Вильямыч, нежадно затягиваясь. Нюанс интонации был мне неясен. Это симпатия или усталость? Или усталая симпатия? Нейтральная ирония, дистанция «врач – пациент»... хотя какие могут быть дистанции у мудрого человека.

– А вы не боитесь таких людей?

Я совсем не ожидала такого вопроса. Но я должна была ответить честно. Вспомнив свой ужас, когда зашла в палату впервые, и мне хотелось бежать оттуда без оглядки. Новенького не любят, он разрывает насиженный микроклимат, он должен заслужить расположение. А как заслужить, если тут сплошное умерщвление плоти и унижение духа, ты бесправная биоединица, лишённая права на личную гигиену и вынужденная колебаться вместе с генеральной линией партии, то есть с паханом, лидером, самоизбранным по закону человеческих джунглей. Не вступать же с ним в дискуссии, право слово, отравляя жизнь самому себе! Кто был паханом в нашей палате, нетрудно догадаться... Но что-то было в этой Фёдоровне настоящее, раз я, ненавистница любой власти как главного насилия, к ней прикипела. И я ответила, как могла:

– Сначала страх, потом любовь.

Вильямыч даже не посмотрел в мою сторону. Означало ли это презрение к моим сводническим потугам? Или он так концентрировался на мысли. Он был человеком, чьи действия не поддавались толкованию на скорую руку. И только сейчас я заметила, что он в джинсах, и у него длинные ноги. Какой красивый благородный старик, подумалось мне.

Больше я его не видела. С котом вышла странная история. Фёдоровна отправилась к нему в кабинет, он был тронут, но сказал, что примет подарок в день её выписки.

– Вам ведь он нравится. Вот и побудьте с ним подольше.

Вежливый отказ? На то он и вежливый, чтобы могли тешить себя иллюзией. Но я верила, что Фёдоровна не должна была струсить, раз уж решилась. Карфаген должен быть разрушен, подарок должен быть подарен. А после нас хоть потоп. Всё дело в том, что струсила я. Со мной это бывает – слишком переживаю, чтобы дожидаться финала. Иногда так волнуясь, что не могу смотреть выступление сына на концерте. Лучше пусть кто-то с победным криком принесёт в клювике видеозапись – сама же изведусь в ожидании. К тому же я – вечное пугало своих желаний. Не зря же моё заболевание – аутоиммунное: иммунитет, призванный быть защитником организма, нападает на него и пытается уничтожить. Военный переворот в масштабах бумажного кораблика. Словом, за меня надо просить другим, сама же я себе всё испорчу! И ребёнку заодно, а это уже я пережить не в силах. Короче, я смылась, испугавшись аутоиммунного сглаза для столь тщательно взлелеянного сюжета. В последнюю минуту Фёдоровна должна принять решение сама, без окрестных нащёптываний и хихиканья.

Смылась – громко сказано. Напросилась на выписку у своего хирурга. Высокий брюнет с синими глазами, имеющий престижную профессию, да ещё находящийся в родстве

с начальством, как мне нашептали, – имеет возможность быть великодушным. Роскошь ни на кого не таить обиду! Резать людей мастерски и с удовольствием... По названным причинам я не могу его хвалить в лоб, но я всю сознательную жизнь мечтаю встретить такого же редактора, не изъеденного мелкой порочной амбицией, благородного талантливого увлечённого труженика, радующегося встретившемуся ему на пути самобытному литературному дару. И ко всему этому – прочно стоящему на этой земле, непотопляемому и имеющему могущественных покровителей. Но в литературе совокупности этих качеств не бывает. Что ж, признаем, хирург важнее по жизненным показаниям. Хотя в душе я буду спорить, закидывая саму себя камнями.

Итак, я выписалась, а Фёдоровна вышла из больничного заключения на следующий день. Остался ребяческий повод думать, что у меня был шанс что-то изменить. И одновременно – возможность надеяться, что лучший исход свершился без моего участия. И мы разъехались, стремительно погружаясь в привычную повседневность.

...Я его увидела в конце лета. Забытым в речном трамвайчике. Зелёного кота.

Бросило в жар, кольнуло в сюжетное сплетение. Воображение возрадовалось лёгкой разминке, переходящей в хроническое наваждение. Она приехала, они встретились? Сели на теплоходик посмотреть на московские виды. Он опять не взял подарок. Она обиделась, выиграла гордость. Сказала: «Не возьмёшь – оставлю его здесь!» Не так, конечно. Они увлеклись беседой, может, немного выпили из фляжки Вильямыча. Анестезиологи умеют пить, в отличие от многих. Но Фёдоровну, допустим, понесло... Опять не то. По соседству с ними никак не успокаивался ребенок! Они решили подарить ему кота. На удачу. А потом, что потом... почему он остался здесь? Или эта целебная игрушка обладает свободой воли? Я ж теперь никогда не успокоюсь, не воссоздав ход событий. Буду представлять, как Фёдоровна и Вильямыч, сойдя с корабля, воспарили, как влюблённые Шагала, и смеются сейчас над загадкой, которую мне задали. Над моим призванием бережно хранить частички чужих жизней. Бумажные кораблики, зелёные коты...

Но что мы, в сущности, знаем о поздней любви?

Москва 2016